



# ЗНАМЯ

Ежемесячный  
литературно-  
художественный  
и общественно-  
политический  
журнал

Выходит  
с января 1931 года

ОРГАН  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ  
СССР

9

СЕНТЯБРЬ  
1989

## Содержание

<b>Н. С. Хрущев.</b> Воспоминания	3
<b>Юрий Кублановский.</b> С юга на север. Стихи	40
<b>Фазиль Искандер.</b> Стоянка человека. Повесть. Окончание	49
<b>Инна Лиснянская.</b> Лирика	80
<b>Криста Вольф.</b> Образы детства. Роман. Окончание	85
<b>А. Твардовский.</b> Из рабочих тетрадей (1953—1960). Публикация и примечания М. И. Твардовской. Окончание	143

### Критика

<b>А. Шиндель.</b> Свидетель (Заметки об особенностях прозы Андрея Платонова)	207
--	-----

### В мире журналов и книг

<b>Л. Аннинский.</b> Как удержать лицо? (М. Кура- ев. Капитан Дикштейн. Новый мир, № 9, 1987; Ночной дозор. Новый мир, № 12, 1988) ◆ <b>И. Фо- няков.</b> Опознаванье Родины своей... (Н. Слепа- кова. Петроградская сторона. Стихи. Л., 1985;
---

«День поэзии», 1988 и 1989) ◆ А. Караганов.  
Нестареющие уроки (Мих. Лифшиц. Собр.  
соч. в трех томах. М., 1984—1989) 218

Из почты «Знамени» 226

Советуем прочитать 237

Журнал «Знамя» в конце 1989 и в 1990 гг. 239

Александр Шиндель

# СВИДЕТЕЛЬ

(ЗАМЕТКИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЗЫ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА)

## 1.

**П**латонов ни на кого не похож. Каждый, кто впервые открывает его книги, сразу же вынужден отказаться от привычной легкости чтения: глаз готов скользить по знакомым очертаниям слов, но при этом разум отказывается послевать за зренiem. Привычные графические очертания слов почему-то не наполняются столь же привычным смыслом, и читатель останавливается, пораженный этой магией авторской речи. Еще трудно разобраться, в чем суть такого эффекта, но эффект налицо: текст Платонова «пробежать» невозможно. Какая-то сила задерживает восприятие читающего на каждом слове, каждом сочетании слов. Мы привыкли предложения схватывать сразу, целиком, постигая написанное автором. Так получается со всеми, даже с Л. Н. Толстым с его громоздкими периодами внутри отдельных фраз. Со всеми. С Платоновым не получается. И только на одном этом первом ощущении можно застрять на годы в попытке отгадать загадку фокуса, чтобы потерпеть поражение, потому что здесь нет механики и нет фокуса, а скорее есть мираж — оболочка глубоко упрятанной тайны. И сама тайна тоже не тайна мастерства, с чем обычно имеет дело склонный к холодному анализу исследователь, а **тайна человека**, разгадывание которой, по убеждению Достоевского, есть единственное дело, достойное того, чтобы посвятить ему жизнь.

Почему же то, что наработано поколениями ученых, — имеются в виду определенные принципы подхода, более-менее устойчивые и достаточно надежные концепции, наконец, методы достижения, — почему же все то, что позволяет успешно работать с произведениями разных и многих писателей, поначалу как бы кажется инструментом ненужным и бесполезным, когда открываешь, к примеру, «Чевенгур»? Почему красивые аналогии литературоведа, сравнивающего Копёнкина на его былинной Пролетарской Силе со странствующим рыцарем, одержимым одной испепеляющей душу благородной идеей, — почему такие аналогии воспринимаются с грустным сочувствием к исследователю?

Явление это имеет простое объясне-

ние. Но простота объяснения не только не снимает напряжения, но, наоборот, сильно усложняет последующую работу.

Дело в том, что необычность образного мышления Платонова — первое, что беспощадно обрушивается на читательское восприятие (я бы даже сказал — оглушает, после чего читатель уже воспринимает все написанное, находясь как бы в состоянии легкой контузии), — вот эта самая «непохожесть» Платонова подсознательно заставляет выделять его «из ряда», рассматривать как некое крупное, но достаточно автономное в литературе явление. И тем самым Платонов как бы изначально задает исследователю программу: искать в его прозе отличия от прозы других крупных писателей, поскольку в существе этих отличий будто бы и заключается его авторская самобытность и ценность. И критики эти отличия находят с переменным успехом. Но странное дело! Чем больше отыскивается этих отличий, тем сложнее нам «вписать» Платонова в русскую классику. Вписать изнутри, а не декларативными рассуждениями о том, что перед нами — несомненный классик.

Нужно ли это делать вообще? Не выморочное ли, не схоластическое ли это занятие? Ни в коей мере.

Это нужно не Платонову. Это необходимо нам, чтобы не оказаться вне Платонова. Мы были вне Платонова многие десятилетия по чисто политическим мотивам. У нас просто не было доступа к нему. Теперь доступ есть. Поэтому есть потребность соотнести его творчество с определенной шкалой высших культурных ценностей. Прямых сопоставлений (по типу: странствующие рыцари, «маленькие люди» под прессом власти или на вершине власти и т. п.) тут быть не может. Надо попытаться определить взаимоотношения Платонова с чрезвычайно сложным временем нашей истории, может быть, самым сложным на протяжении многих веков. Если удастся это сделать — станет понятно, в ряду каких гениев он находится. А мы вряд ли сегодня возьмемся утверждать, что то трудное, одновременно романтическое и трагическое, а по мне так — таинственное время нам уже вполне удалось постичь.

Сегодня перед нами наконец открылся вход в фонд куда более ценный, чем

алмазный. Наконец вместо полуфабрикатов и эрзацев мы имеем литературу, не востребованную нами раньше по причине всеобщего многолетнего идеологического заточения. Свободными оставались лишь несколько отечественных гениев, поскольку от природы гений другой формы духовного бытия не ведает. Но мы слишком долго отсутствовали, им не хватило жизни пережить срок нашего заточения. Они оставили книги, достойные русской классики. Их искусство, как и положено искусству, пережило их. Переживает и нас, и следующие поколения. И не поспешно сфабрикованные бесчисленные документы и «дела», сформированные «исторические» труды, написанные на основе этих документов, будут источником знаний о нас, а эти книги, созданные немногими свободными людьми. Кто знает, может быть, и само наше более чем полувековое существование особой страницей войдет в мировую историю лишь только потому, что оно так засвидетельствовано.

Сейчас нам нет нужды оглядывать мировую классику в поисках соответствий. Да и вряд ли мы сумеем найти соответствия, поскольку имеем дело с явлением чисто национальным. Ну, а что касается необходимых критериев — так за спиной у нас золотой век русской литературы.

Гоголя беспокоила неподвижность России, которая уже грозила омертвением самому духу человека. Но если Гоголь вслушивался в каждый шорох, пытаясь уловить начало движения, то Достоевского уже тревожил угол наклона. У Достоевского не было никаких сомнений на тот счет, что «птица-тройка» пошла в разгон. Это в семидесятые годы прошлого века уже многим в России было понятно. Но Достоевский, вероятно, был первым, кто почувствовал, что у птицы-тройки в решающий момент может не оказаться тормозов. И недвусмысленно высказался об этом в «Бесах». Между «Бесами» и «Мертвыми душами», если считать по календарю, — короткая дистанция жизни одного поколения. Но по качественным характеристикам, по последствиям вряд ли отыщется в нашей многовековой истории подобный отрезок времени. Для такой огромной и инертной страны, какой веками была царская Россия, этот период — миг истории! — не что иное, как чудовищный, моментальный набор скорости. Последующие примерно четыре десятилетия (в политическом смысле) были потрачены людьми, в чьих руках было сосредоточено управление, на поиски способов торможения. Пустое дело!

Дальнейшее нам достаточно хорошо известно.

Уже основательно разогретую послереволюционную Россию мировая война раскалила докрасна. Птица-тройка понесла... Оборваны были все постройки. Стариинный российский кузовок, который Ленин без обиняков назвал романовской

телегой, исчерпал запасы прочности пожалуй что еще при Гоголе. Развалился он легко и бесповоротно.

Это был момент духовного рождения второй волны свободных людей в России (первой — для многомиллионной крестьянской страны, какой была дореволюционная Россия, — надо считать освобождение крестьян). Уничтожение всех внутренних социальных, сословных и кастовых перегородок, конечно же, есть процесс демократизации общества в самом полном смысле слова. Но демократизация произошла путем взрыва, разлома. А вот это заставляет думать о том, можно ли считать демократизацией гибель общества? Каким бы — больным или здоровым — оно ни было в наших последующих выводах и оценках, но оно не трансформировалось в своем переходе в другое качество. Оно просто погибло.

Все поколения советских людей воспитаны в убеждении, что наше общество изначально более демократично, чем дореволюционная Россия. Нас все время подводили к мысли о сопоставлении эпох, не допуская понимания той истины, что после разлома мы никак и ни в чем не можем быть сопоставимы. Мы оказались новой и, как всякая новорожденная, достаточно примитивной цивилизацией, возникшей на месте погибшей старой. И наш взгляд туда — за черту разлома — ни в коей мере не мог объяснить нам, что же мы такое на самом деле. Нам нужно было хоть сколько-то времени пожить, накопить хоть чуть собственной истории и собственного опыта, поскольку только собственный опыт позволяет как-то корректировать настоящее и прогнозировать будущее. Семьдесят лет назад мы, образно говоря, остались без обратной связи с историей...

Именно этим можно объяснить тот феноменальный факт, что миллионы людей оказались не в состоянии отличить свободу от жесточайшей деспотии. У них не было исторического опыта.

При разломе — ни до него, ни после, а именно в самый момент разлома — родился человек. (Естественно, мы имеем в виду рождение духовное.) Можно предполагать, что птицы-тройки он уже не увидел: предоставленная самой себе, она скрылась за горизонтом в направлении, до поры до времени неизвестном. Но он увидел нагромождение обломков вокруг. И сама природа вокруг и эти обломки — все было для него первозданным материалом, из которого он принял сооружать нечто для жизни.

Прошлого, как было замечено, для него не существовало. Поэтому ему не о чем было сожалеть. Будущего этот человек тоже не знал, потому что будущее прозревается из знаний и прошлого опыта, а у него не было ни того, ни другого. Будущее он создавал чистым воображением, а это безошибочный признак детства. Как каждый народившийся

на свет, он обладал только настоящим. Все, что видел, все, что понимал, все, о чем думал, — все было его настоящим. Ему выпало на долю постичь это настоящее и запечатлеть его на листах бумаги.

Конечно, и революцию, и гражданскую войну, и первые годы строительства отображали Серафимович, Федин, Фадеев, Алексей Толстой, Шолохов, Леонов, Всеволод Иванов — мы знаем десятки писателей и немало истинно талантливых книг.

Но большинство писателей, заложивших основы советской литературы, совершенно естественно пользовались языковыми формами, жанрами, методами художественного отображения — в общем всем многосторонним инструментарием, сложившимся еще в недрах дореволюционной русской словесности. Ведь критерии искусства, образные средства и методы воплощения, да и психология творца — это все категории долговременные, я бы сказал — консервативные. Поэтому они меньше подвержены политической и социальной конъюнктуре даже в периоды социальных потрясений и бурь. Требуется довольно много времени, например, чтобы стали очевидными изменения в лексическом составе языка или в формообразовании. Сначала должны произойти ощутимые изменения в мышлении, эти изменения должны существенно коснуться понятийного ряда, потом — еще глубже — логических связей, и отражением всех этих процессов в конечном счете будут изменения в языке. Но унаследованные советскими писателями художественные формы оказались оторванными от той исторической, мгновенно и навсегда отошедшей реальности, в которой они эволюционно возникали и которой соответствовали. Использованные для изображения начавшейся абсолютно **новой** эпохи, эти формы искусства, вызревавшие в старой России веками, поневоле облагораживали реальность, которая родилась в крови и, как скоро оказалось, продолжала кровоточить десятилетиями. Не только романтическое направление, но и хорошо усвоенный суровый в XIX веке традиционный русский реализм в новых условиях стал выполнять эту функцию облагораживания действительности.

Из крупных писателей только один человек этого избежал. Он сразу заговорил на том языке, который с предельной точностью соответствовал понятиям первозданного мира. Мы спотыкаемся о каждое его слово, которое, как материальная преграда, то и дело возникает по ходу нашего движения, заставляя нас ходить немыслимыми зигзагами. Мы спотыкаемся о мысли и поступки людей, которые ничего о себе не знают и на обломках погибшей жизни строят что-то свое, объединенные мечтательным состоянием, но мечтают все о разном. Мы быстро устаем от ощущения первобытного хаоса, в котором организованному мышлению человека конца XX века про-

сто нет места. И после всего этого внутреннего отторжения и сопротивления мы внезапно останавливаемся как разбитые параличом: что-то подспудное, глухое, глубоко загнанное подсказывает, что от этого не отвертеться, не отвернуться. Что это — мы сами. Наше детство. Это в чистом виде машина времени, высокочить из которой невозможно. Писатель заставляет нас узнавать себя с той же безошибочностью, с какой узнает себя пожилой человек на пожелтевшей детской фотографии. Как летописец нашего детства он не имеет себе равных.

Он — это Андрей Платонов.

## 2.

Герои Платонова говорят о «пролетарском веществе». Сам Платонов (в статье «Великая Глухая») говорил о «социалистическом веществе». Из контекста платоновских произведений ясно, что в эти понятия он включает живых людей. Это любопытный момент. Представить себе дореволюционного русского писателя, который бы в одном слове объединил понятия «человек» и «вещество», невозможно.

В хрестоматийных произведениях советской литературы тех лет мы, собственно, рассмотреть «социалистическое вещество» не можем, поскольку писатели разворачивают перед нами динамику борьбы. Нас заставляют следить за ходом процесса. Даже в произведениях, посвященных ударному строительству, мы тоже не можем рассмотреть «социалистическое вещество» как таковое, потому что оно облагорожено идеей строительства до такой степени, что уже видно только идею, которая вобрала в себя строящее ее «вещество», лишив его каких бы то ни было индивидуальных примет.

Только у Платонова идея и человек не сливаются. Идея не закрывает человека наглухо. Поэтому в его произведениях отчетливо видны расхождения между идеей и реальностью. Платонов один из очень немногих советских писателей, в произведениях которого реальность ежеминутно контролирует идею.

В его произведениях мы видим именно «социалистическое вещество», которое стремится из себя самого построить полный, абсолютный, материализованный идеал. Философская абсурдность этой задачи, вполне серьезно поставленной в общегосударственном масштабе, Платонову не видна. Но именно эта грандиозность абсурда в первую очередь поражает нас, худо-бедно научившихся мыслить практическими категориями. Из кого же состоит живое «социалистическое вещество» у Платонова?

Романтики жизни — в самом полном смысле слова. Они мыслят масштабными общечеловеческими категориями и свободны от каких бы то ни было проявлений эгоизма. На первый взгляд может показаться, что это люди с асоци-

альным мышлением, поскольку их ум не ведает никаких социально-административных ограничений. Они непрятязательны, неудобства быта переносят легко, как бы не замечая их вовсе или понимая временность неудобств. Откуда эти люди приходят, каково их биографическое прошлое — не всегда можно установить, поскольку для Платонова это, вероятно, не самое важное.

Все они — преобразователи мира. Гуманизм этих людей и вполне определенная социальная направленность их устремлений заключаются в поставленной цели подчинить силы природы человеку. Именно от них, судя по той надежде, с какой изображает их автор, надо ждать достижения мечты. Именно они когда-нибудь смогут обратить фантазию в реальность и сами не заметят этого. Этот тип людей представлен инженерами, механиками, изобретателями, философами, фантазерами — людьми раскрепощенной мысли.

Асоциальность их мышления — это видимость, потому что сама раскрепощенность их духа есть следствие победившей революции. Они-то и есть истинные дети революции, ее конечная цель.

С позиций научно-технической осведомленности нашего поколения они, конечно, выглядят чудаками. Могут разобрать телегу и из колес, оглобель и ремней соорудить машину, использующую силу ветра или солнечную энергию, потому что они знают: это в принципе возможно. Они думают, как построить машину, работающую на внутренней энергии ядра атома, потому что это тоже в принципе возможно. Они гениальны, как Леонардо да Винчи или Циолковский, но с одним существенным отличием: они часто не понимают, какая серьезная преграда лежит в виде уровня технологии между способностью человеческого разума постигать тайны природы и возможностью пользоваться таким знанием на практике. Они не понимают, что именно в этом звене — уровне технологии — до поры до времени скрыты те ограничения, которые не дают возможности обществу воплотить истину, открытую разумом, или вообще делают невыполнимыми ряд практических программ.

Мы сегодня прекрасно понимаем, что уровень технологий реализуется через социальную и внутриполитическую структуру общества, и если структура не позволяет развивать в необходимых обществу пределах технологический уровень, то тем самым она не в состоянии обеспечить ни социальный, ни нравственный прогресс. Но это уже политика, а герои романтики Платонова политикой, как таковой, не занимаются. Почему?

Во-первых, по причине субъективной. Все эти изобретатели и фантазеры рассматривают свершившуюся революцию как решенный политический вопрос. Все, кто этого не хотел, потерпели поражение и сметены. Мил-

лионы людей, населяющие Россию, пережившие борьбу за победу революции, — это все свои. Поэтому политическая реакция героев Платонова на происходящее в принципе однозначно проста: это — доверие ко всем своим, которых миллионы и которые легко узнаются в разоренной, опустошенной стране по своему тягостному, бедственному положению. Безграничное доверие к однородной коллективной и индивидуальной идеологии порождает у творцов и безграничную внутреннюю свободу духа. Им не надо уточнять свои мировоззренческие позиции, поскольку позиция только одна. Одна на всех: победа в гражданской войне как бы снимает для них этот вопрос.

Во-вторых, они не занимаются политикой по вполне объективной причине. В начале двадцатых годов (мы сейчас имеем в виду время действия в романе «Чевенгур») новое советское государство как четкая социально-политическая машина еще не сложилось. Сложилась власть и в какой-то мере — аппарат власти. Что же касается государственного механизма, то в этот период шел процесс, в котором только нащупывались конструктивные особенности новой государственной структуры. В первой половине двадцатых годов герои Платонова еще не могли ощущать безвыходного для каждого отдельного человека тотального давления государственной машины. Всякие «загибы» местных властей воспринимались именно как «загибы» и не могли еще восприниматься людьми как типичное проявление внутригосударственной политики. Потому что на местах власть была персонифицирована и те же платоновские герои (мы рассмотрим их в следующей группе персонажей) были ее носителями. Государственная машина, впоследствии оказавшаяся чудовищным саркофагом для миллионов людей, была возведена несколько позже, а в этот ранний период платоновские мыслители, искатели, изобретатели как бы оказались предоставленными самим себе и тягались с мирозданием один на один с целью построения счастливой жизни для бывших обездоленных и угнетенных.

О том, что такие люди не плод фантазии автора, говорит сама наша история. История существующих, возникших в те далекие уже годы и по сей день очень притягательных по своей духовной силе научных, инженерно-технических, промышленных, архитектурных и многих других, я бы сказал, художественных проектов. Расширяя этот круг людей, выводя их уже за рамки произведений Платонова, я бы включил сюда (по типу сознания) таких ученых, как Вернадский, Вавилов, Чижевский, и многих других, чья безграничная фантазия в сочетании с высочайшей культурой была озарена гениальными находками, имеющими значение для жизни всей мировой

цивилизации. У Платонова таких героев нет по одной, как я понимаю, причине: все его герои — люди новорожденные. Им недостает культуры, ибо культуру сохранили только представители погибшей формации.

Вторая группа персонажей — это романтики битвы, люди, сформировавшиеся на фронтах гражданской войны. Бойцы. Чрезвычайно органичные натуры, какие в массовом порядке обычно порождает эпоха битв. Бесстрашные, бескорыстные, честные, предельно откровенные. Все в них запрограммировано на действие. Созерцательное состояние им не свойственно. Оно им в принципе противопоказано, иначе они не могли бы воевать и побеждать. Способность к умозрительному постижению жизни вытеснена в них стремлением к действию, к непосредственному ощущению движению. В этой запрограммированности на действие — и только на действие! — их ограниченность.

В силу понятных причин именно они — профессиональные бойцы и защитники революции — пользовались в победившей республике безоговорочным доверием и моральным правом на руководящие посты.

Вернувшись с фронтов гражданской войны, они оседают в губкомах, уездных и прочих узловых точках молодой советской власти. Они приступают к делу с лучшими намерениями и с присущей им энергией, но вскоре обнаруживается, что большинство из них в новых условиях чисто автоматически пытаются пользоваться своим прошлым военным опытом, и руководят они так, как командовали полками и эскадронами на войне. А те немногие, которые задумываются, впадают в тягостное состояние растерянности: они просто не знают, что им делать.

Они сумели победить в кровопролитной борьбе за народную власть, и этим, в сущности, историческая роль многих из них была исчерпана. Получив ключевые посты в управлении, они не умели ими распорядиться. Во многих случаях они не видели, как от санкционированных ими мер страдают люди, ради которых они и бились в гражданскую войну. Непонимание происходящего рождало в них повышенную подозрительность. Поэтому-то впоследствии это поколение заслуженных людей и никчемных руководителей психологически с необыкновенной легкостью восприняло «научный» тезис Сталина о возрастающем сопротивлении классового врага по мере развития социалистического строительства. Простота этого тезиса однозначно диктовала и простоту конкретных мер, психологически во многом отвечающих навыкам людей, сформировавшихся в военные годы. Очевидное неблагополучие в стране, разоренной войной, заставляло бывших бойцов принимать жестокие и зачастую бессмысленные меры. Они запутались в отклонениях, переги-

бах, перекосах, уклонах и т. д. Безграмотность и нищета — в самом прямом смысле этого слова — были той почвой, на которой расцветало насилие.

В романе «Чевенгур» Андрей Платонов изобразил именно таких людей. Получив неограниченную власть над уездом, они в приказном порядке решили отменить труд. Рассуждали примерно так: труд — причина народных страданий, поскольку трудом создаются материальные ценности, которые приводят к имущественному неравенству, к зависимости людей друг от друга, и появляется буржуазия. Стало быть, надо ликвидировать первопричину неравенства: труд. Кормиться же следует тем, что сама природа рождает. Так, в полном соответствии со своим уровнем грамотности, приходят они к обоснованию теории первобытнообщинного коммунизма, конечно же, не отдавая себе в этом отчета.

Что это значит, если сие не плод фантазии автора, а воспроизведенная гениальным художником реальность в своем типическом проявлении? Ни больше, ни меньше — крах цивилизации. Падение с вершин тысячелетнего развития на самую примитивную ступень. И причина тому одна: на время нарушенная преемственность культуры.

Конечно, даже чисто технические реалии объективно существующего вокруг чевенгурцев мира делают такое падение — на всю глубину — невозможным. Но способность человеческого разума, потерявшего опору в культурных ценностях, накопленных всей цивилизацией, «проваливаться» до инстинктивного, пещерного мироощущения отнюдь не фантазия Андрея Платонова. Это жесточайшая и опаснейшая реальность, возможная на любом витке истории. Именно это (и ничто другое!) в нашем, отечественном, варианте и продемонстрировал вскоре утвердившийся сталинизм.

Трагедия, показанная Андреем Платоновым в «Чевенгуре», заключается еще и в том, что среди того типа героев, который определен тут как «романтики битв», еще нет жуликов, карьеристов, проходимцев. Бывшие бойцы, они не ищут для себя личной выгоды. Они действуют в полном соответствии со своим мировоззрением и уровнем культуры. Их нельзя обвинить в безнравственности: они прекрасны в своем бескорыстии, даже в своих трагических заблуждениях.

Если герои первой группы — творцы, пчелы, собирающие мед в улей, то герои второй группы (романтики битв) — конструкторы самого улья. Другими словами — профессиональные политики по положению в обществе.

Тут нельзя не сказать о чрезвычайно важном историческом и духовном процессе, впервые столь глубоко изображенном именно Платоновым.

Можно ли представить тысячелетнюю религиозную (по крайней мере набожную) страну, правительство которой в один прекрасный день декретивным по-

рядком объявляет беспощадный террор религии? Террор — идеологический, террор — физический: мгновенное (по историческим меркам) уничтожение сотен соборов, монастырей и церквей, олицетворявших собой вековую духовную историю нации, уничтожение тысяч и тысяч священнослужителей? Представить себе такое государство, в котором правительство одним махом ставит в положение политически неблагонадежных десятки миллионов верующих — поданных своих? Нет, невозможно такое представить! Потому что любое правительство, которое рискнуло бы пойти на столь опрометчивый шаг, моментально дискредитировало бы себя, потеряло бы доверие и лишилось бы власти...

Однако у нас дело обстояло именно таким образом. И при этом правительство не только не потеряло власть, но и укрепило ее!

Этому есть лишь одно более-менее логичное объяснение. Революционная идея, в той вульгарно-материалистической, донельзя упрощенной форме, в какой она была усвоена миллионами людей в России, была воспринята на веру — именно как воспринимается идея религиозная. А само революционное учение точно так же было воспринято как новая религия, которая вытеснила старую, христианскую, благо обещала царство божие не на небесах, а на земле, да еще и при этой жизни. Вульгарное восприятие основных положений учения, которое не только разрешало, но и всячески стимулировало массовую социальную активность с целью перераспределения материальных благ, легко на неподготовленное общественное сознание вооруженной воюющей крестьянской страны, указывая, какказалось, кратчайший путь к избавлению от всяческих бед. Это была новая и очень жесткая вера, которая требовала от своих приверженцев такой фанатической преданности, какой не знала христианская религия за всю историю своего существования. Но жестокость новой веры обратной стороной имела, как оказалось, несопоставимую с христианством историческую скротечность. Уже мы — всего-навсего второе, третье поколение — сегодня возвращаемся в исходную позицию, рассматривая марксизм как учение, а не как свод религиозных догматов.

Но Андрей Платонов изобразил именно первое поколение бойцов, одержимых верой в торжество мировой революции. Когда читаешь «Чевенгур», не можешь отделаться от ощущения ирреальности происходящего: герои говорят вроде бы на одном языке, но каждый понимает смысл сказанного по-своему. И все мучатся от непосильности свалившейся на них задачи. Единственное, что возвращает их к пониманию и единению, — это близкое прошлое гражданской войны, когда все им было предельно ясно, каждый был на своем месте и знал, что ему делать. Точно так же во взглядах на буд-

ущее их объединяет надежда на победу мировой революции, которая вот-вот должна вспыхнуть на всех континентах. И тогда опять все будет ясно, опять они окажутся на своем месте. В этом ожидании грядущей всемирной революции и есть высший смысл их бытия.

И они — если говорить о сюжете романа «Чевенгур» — погибают. Погибают просветленные, представ перед нами во всей своей исполнинской силе бойцов. Умирая, они возвращаются в свое прошлое, где они были на месте.

Но такой исход — частный случай на объективном фоне начавшегося в стране мирного строительства. Главное же в том, что уже в этот период видно, какого характера драматизм ожидает страну в недалеком будущем.

Еще одну группу персонажей можно отнести к условной категории нарождающихся интеллигентов нового общества.

Если бы меня попросили рассмотреть образы интеллигентов у Платонова (скажем, в романе «Чевенгур», повестях «Котлован» и «Ювенильное море»), я бы ответил, что таких образов у Платонова нет. Это с наших нынешних позиций. И добавил бы, что у Платонова интеллигентов нет не потому, что он их в принципе не выносит, а потому, что в том мире, который он изображает, их не было вообще. Говоря об интеллигентах, я имею в виду интеллигентов новой, советской формации, а не ту мизерную часть старой русской интеллигенции, которая не смогла отказаться от России, приняла ее новую судьбу, не подозревая в начале двадцатых годов, что тем самым обрывает судьбу свою собственную: ибо эта небольшая часть государства в конце тридцатых годов была истреблена Сталиным почти полностью. И в пояснение своей точки зрения сошлюсь на очерк Владимира Шубкина «Трудное прощание» («Новый мир» № 4, 1989 г.), в котором дана цифра потерь России с 1914 по 1920 год — 21 млн. человек (по оценке академика С. Г. Струмилина). Примерно 2 млн. человек из этого числа погибли во время первой мировой войны. Остальных унесли гражданская война и эмиграция. Это была почти вся российская интеллигенция. Не надо думать, что то были сплошь белогвардейские офицеры. Отнюдь! В массе своей то были такие люди, как киевский доктор Турбин или московский доктор Живаго, или авиаконструктор Сикорский, или композитор Рахманинов, или философ Бердяев, или крупнейший экономист XX века Леонтьев, или — если уж не трогать людей знаменитых — ничем не знаменитые чеховские три сестры и другие вполне благопристойные барышни, которые, надо полагать, насмотрелись по всей России на людей с маузерами и неограниченными полномочиями. Как жить в стране, в которой кто при маузере — тот при власти, и вместо того, чтобы разговари-

вать, все стреляют? Ревкомы, ревтрибуналы, чрезвычайные комиссии — и на все про все проблемы — одно лишь классовое чутье? Ясное дело, когда в вооруженной борьбе были разгромлены белогвардейцы, классовое чутье — этот универсальный орган самодестреления безошибочно нашупал следующую мишень: интеллигенцию. И тот факт, что в изображении крупнейшим писателем того времени образов интеллигентов нет, безошибочно указывает на «выработанный пласт». Как важнейшая функциональная часть общества интеллигенция надолго свое существование прекратила.

Но если интеллигенция была выдана и истреблена, то ее функции в жизни общества — любого! — ни одна власть отменить не в состоянии. Эти функциональные ячейки стали заполняться, и процесс поначалу шел стихийный. С этой точки зрения среди героев Платонова условно можно выделить тех, на кого легли функции интеллигенции. Я бы начал ряд персонажей с героя повести «Котлован» Вощева.

Вощев не признает труда только за материальное вознаграждение. Труда как условия выживания человека. Ему этого слишком мало. Для него не существует привычной, но слепой веры в труд, не подкрепленной умственной формулой, которая объяснила бы ему связь его личного трудового усилия со всем сущим. А без этой формулы труд, не облагороженный сознанием, низводится в его глазах до уровня инстинкта, а сам человек превращается в муравья, не ведающего начальных и конечных целей своего существования.

Задумавшись однажды над этим, он уже не мог выполнять свою работу как всегда. Она для него обессмыслилась, и потому ему стало необходимым найти соотношения между своими усилиями и общим итогом деятельности общества. Произошел разрыв с той социально-трудовой общностью людей, к которой он долгое время принадлежал. В начале произведения автор об этой метаморфозе с героем сообщает нам так: «В увольнительном документе ему написали, что он устраивается с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда».

На будущее его жизнь непредсказуема, в ней большую роль играет элемент случайности, и человек существует одновременно как бы в двух разных жизнях. Одна — внешняя — видима со стороны. Это может быть жизнь сезонного рабочего, мелкого служащего, землекопа, бродяги — что угодно. Другая — внутренняя, очень напряженная, сжатая — и есть истинная жизнь этого героя. Жизнь мысли, которая вызревает тайно, в глубине не слишком развитого разума, постепенно превращая этот разум в интеллект. Это — может быть, во втором или третьем поколении — будущий интеллигент. А сейчас даже не про-

образ интеллигента, а некая зародышевая клетка, стихийно «осознавшая» свои функции, — созерцание и осмысление накопленной информации.

Однако нормального созревания ее в существующих условиях быть не может.

«— Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, — сказали в завкоме. — О чем ты думал, товарищ Вощев?»

— О плане жизни.

— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

— Ну и что ж ты бы мог сделать?

— Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

— Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс».

Вот такой разговор для начала. Разговор, который выбора герою не оставляет. Более пятидесяти лет прошло с тех пор, а все тут очень знакомо. Даже смысловые акценты не устарели.

Тут нет ни одного лишнего или неточного слова. Речь идет не только о путях нравственного развития человека в новом обществе, но и о том, что само понятие нравственного развития никак невозможно отделить от развития экономического. Все сходится в человеке, все проходит сквозь сознание человека (именно над этим, оглушенный грандиозностью открывшейся истины, и задумался Вощев), и потому во всем, что связано с жизнью общества, истины в нем человека быть не может. Это первое. А второе состоит в том, что уже здесь мы видим столкновение диалектического мышления (Вощев) и догматического (его неназванный собеседник). Этот конфликт — один из главных во всем творчестве Платонова. Причем носителем гуманистического начала и подвижного мышления у Платонова, как правило, выступает отдельная личность. Что же касается любой структуры, в которой хотя бы намечается какая-то иерархия власти, то структура у Платонова олицетворяет мертвое, догматическое начало. Здесь в приведенном случае собеседник Вощева — завкомовец, т. е. представитель власти. И какова же его реакция? «Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный...» Власть еще не может включить в себя интеллект даже в самом простейшем его виде. Она либо сразу отчуждается от него, либо порабощает и размалывает.

О «Чевенгуре» трудно писать, поскольку этот удивительный роман как бы «плавает» в разных временных изменениях. С наших сегодняшних позиций, отнесенных от событий, происходящих

в «Чевенгуре», более чем на шестьдесят лет, все, что там происходит, воспринимается за гранью реального. Больше того: иначе как вакханалией слепоты, разгулом инстинктов это просто нельзя назвать; все это не поддается не только какой-то изощренной логике, но вообще не вмещается в рамки здравого смысла. Такое ощущение, что среди чевенгурцев нет ни одного человека, который бы обладал способностью элементарно понимать происходящее и соотносить свои действия с окружающей обстановкой. Из этого мира, показанного Платоновым, как бы извлечена способность человека мыслить.

Но это взгляд из нашего времени. Сами же чевенгурцы жестокой бессмыслицы устроенной ими жизни не видят. Да и как они могут видеть, если все постижение мира у них происходит только в эмоциональной сфере? Глава чевенгурского совета — Чепурный — прислушивается к своим ощущениям, которые он даже не в состоянии сформулировать. Это за него делает хитрый приспособленец Прохор Дванов — человек, который из любой ситуации извлекает для себя пользу. Сформулированный Прохором «тезис» является конкретной программой для штатного чевенгурского исполнителя товарища Пилюси. Бывший рабочий-каменщик товарищ Пилюся в годы гражданской войны сменил профессию и бесповоротно овладел навыками прирожденного карателя. Ему для исполнения любой программы нужен только один инструмент — заряженный наган в руке. Эти трое как бы образуют примитивную, но очень устойчивую модель власти, основанной на принуждении и только на принуждении. Схема простейшая: один, совершенно не ведающий, что делает, от неведения берет на себя всю политическую ответственность за происходящее (это Чепурный). Другой — чистый мерзавец по натуре! — прикрытый этой не им взятой ответственностью, запускает в ход людоедские программы. Это Прохор Дванов. Третий, с которого двумя первыми снята не только всякая ответственность, но и сама обязанность человека отдавать себе отчет в своих поступках, становится бездумным исполнителем. Это Пилюся.

Наиболее цельной натурай в романе выглядит Степан Копёнкин. Ощущение цельности связано не столько с мистической преданностью Копёнкина образу Розы, сколько с тем, что Копёнкин не берет на себя несвойственных ему функций. Он боец — не политик, не администратор, не исполнитель чужой воли. Может быть, поэтому и разброс ощущений у Копёнкина гораздо меньший, чем у Чепурного. Копёнкин первый, кто, попав в Чевенгур, испытывает законные сомнения. Представший перед его глазами «чевенгурский социализм» плохо увязывается с революционной идеей всеобщего счастья. Счастливых людей в Чевенгуре нет. Это Степан Копёнкин

видит. Как видит и то, что фактический правитель Чевенгуре Прохор Дванов — обычновенный проходимец. И первое побуждение Копёнкина — чисто функциональное, которому он, кстати, до этой ситуации никогда не изменял, — покончить разом с этой бандой. Но... эти бандиты называют себя ревкомом. Более того, и в губернском масштабе числятся как ревком — то есть пользуются той единственной оппозиционной системой «я — свой», с которой Копёнкин не может не считаться. И он откладывает решение вопроса до приезда Саши Дванова.

Александра Дванова в чевенгурской среде можно считать интеллектуалом. Это человек, который с детства читал книги, ему не чужд созерцательный подход к действительности, и при этом от природы в душе его живет что-то каратаевское. Среди людей вооруженных, ожесточившихся от войн, голода и нищеты, вследствие ожесточенности или изможденности ставших почти нечувствительными к смерти, Саша Дванов выделяется своей неагрессивностью и полной отрешенностью относительно возможного исхода своей собственной жизни. Он, между прочим, тоже не в восторге от того, что видит в Чевенгуре, но тут-то и начинаются странные вещи. Он не только не делает попытки что-либо изменить, а вполне принимает уже сложившуюся структуру и легко вписывается в нее. Так же, правда, сохраняя некоторое недовольство, но уже не столько Чевенгуром, сколько Прохором, вписывается в ситуацию и усомнившийся поначалу Копёнкин. И что совсем уж странно — с такой же легкостью оседает тут столичный человек Симон Сербинов, приехавший в Чевенгур с ревизией, все моментально постигший и, несмотря на это, с каким-то даже облегчением сделавший свой выбор. Почему?

Потому, что Чевенгур — безвариантная реальность. Та самая вполне наглядная модель, к которой все общество еще не пришло, но к которой оно безошибочно должно прийти. Ибо другой формы — более логичной и более наглядной — сознание, провалившееся до уровня инстинктивных реакций, представить себе не может. Уродство Чевенгуре — это отражение идеи,искаженной неразвитым самосознанием только-только родившегося общества.

Потому сегодня все происходящее в романе нам кажется ирреальностью. Но самое интересное в том, что наш сегодняшний взгляд на Чевенгур в самом романе не только предусмотрен Платоновым, но и выражен. Правда, этот взгляд, брошенный как бы из будущего, в романе проскальзывает не часто, но действует как противостолбнячная инъекция.

Помните, председатель губисполкома Шумилин отправил Сашу Дванова, говоря нашим языком, в командировку по губернии с целью наблюдать «намечающееся самозарождение социализма

среди масс»? Другими словами, Дванов получил довольно высокие в пределах губернии полномочия от высшего губернского представителя власти. Как он ими воспользовался?

Сам Шумилин итог этой «командировки» оценивает так: «Тебя послали, чудака, поглядеть просто — как и что. А то я все в документы смотрю — ни черта не видно, — у тебя же свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить Биттермановское лесничество, сукин ты сын! Набрал каких-то огарков и пошел бродить...» — и эта трезвая оценка, данная как бы человеком нашего времени с позиций элементарного здравого смысла, проливается как внезапный холодный душ на наше разогревшееся восприятие. Что же выходит? Саша Дванов, почти книжный человек, самая светлая голова и самая чистая чевенгурская душа — да он же абсолютно слеп, как и все они!

А вот другой трезвый голос (во время той «малой» одиссеи Саши Дванова): «Дванов также прямо попросил его сказать, чем он обижен на Советскую власть.

— Оттого вы и кончитесь, что сначала стреляете, а потом спрашиваете, — злохо ответил кузнец. — Мудреное дело: землю отдали, а хлеб до последнего зерна отбираете: да подавись ты сам такой землей! Мужику от земли один горизонт остается. Кого вы обманываете-то?

Дванов объяснил, что разверстка идет в кровь революции и на питание ее будущих сил.

— Это ты себе оставь! — знающе отвергнул кузнец. — Десятая часть народа — либо дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по-крестьянски, за кем хошь пойдут. Был бы царь — и для него нашлась бы ичейка у нас. И в партии у вас такие же негодящие люди... Ты говоришь — хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает — кому ж твоя революция останется? А война, говорят, вся прошла...»

Пожалуй, больше в романе и нет других эпизодов, в которых бы здравый смысл прозвучал столь беспощадно. Но идет этот голос как бы из тех пределов, которые еще не до конца завоеваны Чевенгуром. Пройдет время, и эти голоса умолкнут.

Но поскольку природа «сама» рождает не только материальную пищу (это базисная теория чевенгурцев), но и здравомыслие как таковое, то, очевидно, Платонов почувствовал, что в борьбе с этим здравомыслием даже фанатическая, слепая преданность идеи может не выдержать, если не будет иметь ощущения поддержки. На протяжении всего романа Платонов старается выдерживать этот конфликт — борьбу здравого смысла со слепотой фанатизма — в рамках, очерченных сюжетом. То есть в рамках истории Чевенгур. Вся чевенгурская

власть строго персонифицирована. Но вот на очередном своем заседании чевенгурская верхушка принимает решение очистить город от остатков мелкобуржуазного элемента, под которым понимается практически все население города. И эта карательная акция свершается: город в прямом смысле становится пустым. Так было задумано для того, чтобы «пролетарское вещество», которое бесприютно бродит по окрестностям уезда, вошло в подготовленный для его жизни город, заполнило его и было от этого счастливо. Становится ясно, что при описании акции возникает «несостыковка» определенного рода, так как один товарищ Пиюся расстрелять из своего нагана тысячи согнанных на площадь жителей не может. Как образ воплощенной карательной идеи — может. Но в конкретно задуманной сцене описания расстрела нужен уже не образ карательной идеи, а образ натурального карателя, и в этом своем овеществленном качестве товарищ Пиюся как единственный исполнитель акции нереален. И Платонов, у которого все образы — это образы-идеи, единственный раз во всем романе нарушает избранный им принцип художественного воплощения. Реалистичность задуманной сцены расстрела требует от автора обоснования уже по суровым законам реализма. И в Чевенгуре, в первый и в последний раз, откуда ни возьмись, внезапно появляются солдаты. «В ночь на четверг соборную площадь заняла чевенгурская буржуазия, пришедшая еще с вечера. Пиюся оцепил район площади красноармейцами, а внутрь буржуазной публики ввел худых чекистов». Больше в романе никаких красноармейцев в чевенгурском мире и «худых чекистов» нет. Даже тогда, когда чевенгурцы принимают бой с кавалерийской бандой, товарищ Пиюся сражается без поддержки чекистов и красноармейцев. Потому что образы чевенгурцев — это образы-идеи, я бы даже сказал: некие фантомы, вписанные в жесточайшую реалистическую обстановку того времени.

Есть в произведениях Платонова и другие группы героев. Большинство из них — жертвы переломной эпохи. Это дети, женщины, старики, отдельные семьи и целые социальные пласти. Они мелькают бесплотными тенями, подобно душам умерших на дне Тартара, в центре которого бешеными темпами сооружается гигантский некрополь — Чевенгур.

### 3.

Старая русская интеллигенция была не только выражителем культуры, но и, что очень важно, носителем этических принципов и этического мышления. Как определенная функциональная часть общества, складывающаяся веками, именно интеллигенция препятствовала проникновению в высшие сферы

управления носителей мышления уголовного. Уголовное мышление я рассматриваю в этой статье не в прямом нашем (бытовом) понимании, а несколько шире — как свойство сознания совершенно определенного типа. Если в цивилизованном мире общественное сознание пользуется такими понятиями, как «мораль», «конституционное право», «духовный мир личности» и т. д., то речь идет о сознании этическом. Уголовное же мышление свойственно, скажем так, «доцивилизованному» периоду, полупервобытному, когда мышление еще не слишком поднимается над инстинктом, когда родовые или племенные общественные связи до предела просты и единственную и главную ценность для индивида составляет физическое ощущение жизни. Для носителя уголовного мышления не может быть борьбы только в сфере идей. Для него сама победа в духовной сфере означает физическое уничтожение противника. Потому и духовной сферы как таковой для него не существует.

Истребление старой интеллигенции было катастрофическим по своим последствиям именно потому, что, устранив физически носителей этического мышления, эту важнейшую функциональную часть общества заполнили носители мышления уголовного. Сталин уголовник не потому, что уничтожил миллионы людей: он уничтожил миллионы людей потому, что был носителем уголовного мышления. А его единомышленники и подручные? Ворошилов, Каганович, Молотов, Жданов, Берия, Мехлис и другие? Это была чистейшая селекция по типу уголовного мышления. И они победили, потому что им никто не противостоял. Некому было. А победив, возвели террор в норму внутриполитической жизни.

Ныне в нашей прессе приводятся страшные цифры. Покуда официальная статистика молчит, исследователи всех рангов и направлений пытаются доискаться до истины самостоятельно. Разброс большой, но один вывод можно сделать безошибочно: количество людей, пострадавших от внутриполитического террора, превышает потери от внешнего врага.

Любопытно, что масса людей, несмотря на то, что от хлынувшей информации просто некуда деться, предпочитает оставаться при прежнем заблуждении. Иллюзия им по-прежнему дороже знания. Почему? Дело в том, что сознание многих честных людей, проживших объективно адски трудную жизнь, как правило, бывает возмущено чудовищным обманом, который для миллионов и миллионов обернулся трагедией слепой веры. Перед примитивной ловушкой — одной на всех! — которую построил Сталин, разум советского человека немеет. Ибо, когда советский человек начинает понимать, что его святая вера и стала тем катком, которым его же и раздавили,

его разум просто отключается. Такова расплата за слепоту.

У героев Платонова не было знаний и не было прошлого, поэтому им все заменяла вера. У нас уже есть и знания, и прошлое. Так какой же социализм мы построили?

На этот вопрос, который сегодня часто мелькает на страницах газет и журналов, Андрей Платонов дал исчерпывающий ответ еще в двадцатые годы.

Мы построили Чевенгур. Это не образ, это констатация факта.

Мы дожили до обессмысливания труда — это Чевенгур.

Мы кормились тем, что сама земля рождала. Она долго рождала, потому что мы владеем почти половиной всех черноземных земель мира. Но мы ее обесценили, привели в запустение. Даже в таком виде она еще продолжает нас кормить, однако мы каждый год съем столько, сколько не в силах собрать и сохранить. Вместо того, чтобы однажды, увидев это, построить столько элеваторов и хранилищ, сколько нам требуется под урожай, мы продолжали десятилетиями производить, чтобы терять, а потом у чужих хозяев покупать на золото столько, сколько сгноили. Это — Чевенгур.

Мы сейчас ставим вопрос о создании правового государства, потому что семьдесят лет жили в неправовом обществе и уже устали от угрозы самоистребления. И мы делаем первую попытку защитить себя от себя. Это — тоже Чевенгур.

Мы только рассматриваем такие понятия, как «хозрасчет», «самоокупаемость», «аренда», «прибыль», «рынок», «гласность», «конституционное право», «демократия»... Они еще не стали нормой нашей жизни, мы только пробуем их на звучание. Мы еще и живем-то по-старому, неловко примериваясь, с какой ноги шагнуть... Но уже — поляризация эмоций, неспособность формулировать эмоции в виде рассуждения и чрезмерное напряжение на полюсах.

Это — тоже Чевенгур. Мы еще никуда от него не ушли, и крепенький пенсионер товарищ Пилюся вечерами, возможно, прочищает свой старенький, но безотказный наган.

Чевенгур был порождением определенной структуры власти. Сложившись для того, чтобы стать рычагом строительства нового государства, сталинский аппарат власти в основном работал на обеспечение собственного воспроизводства. Не будь это в такой огромной и такой богатейшей стране, как наша, подобная модель политической деспотии, предоставленная самой себе, очень быстро бы исчерпала себя. Именно поэтому возникла необходимость политической реформы. Когда сегодня вопросы, требующие четкого политического и правового обоснования, переводят в сферу рассуждений о нравственности общества — мне становится не по себе. Накал

эмоций, ожесточенность, вспышки насилия, отчуждение людей друг от друга внутри общества — все это многим представляется неожиданным провалом в безнравственность, заставляет взывать к милосердию. Ближайшие и очевидные причины для обеспокоенности — а они есть! — закрывают главное: раньше само государство десятилетиями проводило самую безнравственную внутреннюю политику — политику обмана и насилия. Сегодня носителями безнравственности выступают отдельные люди и отдельные группы. Их много, но они трагическое следствие многолетней безнравственности тоталитарного государства. Оно было жестоким — и они жестокие. Оно признавало только культ силы и приоритет силы над разумом — и они признают только культ силы. Оно никогда не выбирало средств в отношениях со своими гражданами — и они не выбирают средств. Они его законные дети, внуки чевенгурцев. Но они не были так видны, потому что совмещались с той нормой, которая им самим государством и навязывалась. Сейчас норма чуть-чуть изменилась, чуть-чуть сдвинулась в сторону нравственного развития, и на этом контрасте воспитанники Чевенгура сразу стали видны.

Что же касается призывов к построению нравственного общества, то это, на мой взгляд, самое сложное из всего, что доступно пониманию человека. Это, может быть, конечная эволюционная цель любой общественной системы.. Венец ее развития, потому что других целей сознание человека не знает. Призывы начинать именно с этого — утопия, повторение ошибки чевенгурцев. Но у них есть историческое оправдание: они были новорожденными. У нас такого оправдания уже не будет. Поэтому нам надо создавать такие общественные, политические и государственные структуры, которые бы надежно блокировали негативные тенденции и всякий крен в сторону самоистребительного прошлого.

Сейчас об Андрее Платонове много пишут. В частности, пишут и о «Чевенгуре». Попадаются определения типа «роман-предвидение», «роман-антиутопия». Все это не кажется мне удачным. Какое, простите, предвидение, если роман в двадцатые годы был написан, фактически написан с натуры? И почему антиутопия? Если это антиутопия по отношению к реальной жизни, то вся наша сталинская, по меньшей мере, историческая действительность — утопия? В том-то и дело, что все это — и натура, и ее изображение — реальность. И форма мышления — реальность, и азбука символов, к которой мы готовы причислить уникальный язык произведений Платонова, — историческая реальность. Он и велик потому, что ему единственному из той эпохи удалось найти для отображения реальности адекватную ей языковую

и понятийную систему. Потому-то и судьба у него своя. И если бы в словосочетании «социалистический реализм» определение «социалистический» имело не идеологическую начинку, а просто-напросто указывало на связь писателя с временным периодом, начавшимся после октября 1917 года, то я бы сказал об Андрее Платонове, что это жесточайший социалистический реалист. Или: жесточайший реалист начального периода эпохи социализма. Можно и так.

Сам Андрей Платонов как представитель своего поколения, судя по всему, полагал, что он участвует в созидательной работе невиданного масштаба и это созидание отображает. Если что иногда вызывало его протест, то это очевидные для него «технологические» ошибки, допускаемые при строительстве нового общества. Конкретно — недостаточное умение правильно распорядиться «социалистическим веществом». Он и писателем-то доказывал в статьях, что быть просто профессиональным писателем в таком деле нельзя. Надо быть непосредственным участником строительства — частью социалистического вещества, — тогда только увидишь и прочувствуешь, а стало быть, и напишешь без вранья. Он отрицал умозрительное постижение реальности. Он сам был ее частью.

Мы спустя почти семьдесят лет приступаем сегодня к тому же. Потому что создать нечто новое, более совершенное, чем предыдущее, и при этом не опираться на прошлый опыт — невозможно.

Судя по тем задачам, которые наше общество ставит перед собой сегодня, прошедшие семьдесят лет надо считать подготовкой, минимально необходимым (по историческим меркам) периодом для осмыслинного подхода к задуманному.

У поколения Платонова были идея, вера и духовная энергия.

Идею мы сохранили, энергия у нас теперь промышленная, и ее гораздо больше, а веру мы слегка потеснили знанием, которое досталось страшно даже сказать какой ценой. Мы идем сейчас в нужном направлении: от ортодоксального восприятия марксистской идеи к научному. Но идем очень медленно вследствие огромной инерционности, заложенной в административно-командную систему, и непривычности нового маршрута, который и привлекает и смущает отсутствием привычных ориентиров одновременно.

Так что же тогда такое изображенный Платоновым Чевенгур?

Черная дыра. Чудом дошедшее до нас через десятилетия эхо погибшей цивилизации. Самый надежный ориентир, от которого надо уйти как можно дальше, чтобы больше никогда не попадать в губительное поле притяжения.